

## Пролог

Свадьбу Кошей Бессмертный и Марья-Выдумщица решили не афишировать и справить тихо, в компании самых близких друзей и родственников. Ведь неизвестно, как отнесётся мир к такому браку — не осудят ли люди, не засмеёт ли нечистая сила? Со стороны невесты приглашённых не нашлось — Марья сиротой была, со стороны жениха позвали двух кикимор из соседнего болота, оборотня Михеича, сводного Кошеева брата Верлиоку, да в свидетели пришлось взять дядьку Вия, который накануне нагрянул погостить с Черниговщины. Тиграна Горыныча решили не звать — уж больно большой и шумный, ест в семь ртов и дымит сильно; а Марья уже на втором месяце была, ей от рёва и дыма нехорошо могло сделаться.

Слуги Кошей Дыр, Бул и Щыл привели из ближайшей деревни батюшку отца Трофима. Поп этот славился тем, что за бутылку самогона мог хоть чёрта обвенчать. Отец Трофим, ничтоже сумняшеся, благословил новобрачных и, умыв руки, остался на обед.

Самобранке заказали только напитки, все остальные угощения Марья приготовила сама. Новых своих со-родичей принимала она приветливо, для каждого на-ходила тёплые слова, никем не брезговала, вела себя скромно, но по-хозяйски.

Для нечисти такой приём был в диковинку.

Кощей пил мало, был задумчив и молчалив.

— Ты понимаешь, — рассказывал он брату Верлиоке, когда вышли покурить, — сам не знаю, как всё получи-лось. Похитил её без всяких серьёзных намерений, хот-ел людишек пострадать, позабавиться, тряхнуть бес-смертностью...

— Влюбился? — Верлиока сощурил единственный глаз. — Эвона как!

Кощей отмахнулся.

— Да ну! Кровь, понимаешь, застоялась, хотел сра-зиться с кем-нибудь, с богатырём там, или с добрым мо-лодцем. Здоровье поправить хотел — у меня, понимаешь, кости ломит, жизнь-то у меня...

— Сидячая? Эвона как!

— Да какая сидячая! Висячая. Сто лет и три года при-кованный в подвале провисел, потом ещё полтинник над златом чах, как нанятый.

— Зачах, значит? Эвона как, брат!

— Хотел косточки поразмять, помахать кладенцом двуручным. Ради спорту, ради, так сказать, соревнова-тельности. Я б его рубить-то не стал, пару синяков по-ставил бы на память и отпустил восвосяси, вернул бы де-вицу, куда положено, больно нужна она... была. А тут...

— Что? — Верлиока выпятил глаз.

— Что! Ухажёр у неё оказался ненадёжный, хлипкий, спасти не пошёл! Пропал куда-то, как в воду канул,

никто его с тех пор не видел. Так военно-спортивная часть дела на нет и сошла.

— Не ухажёр и был, — сказал Верлиока с презрением. — В оцип таких надо, эвона как!

— И осталась Марья у меня жить... Марьюшка...

Кощей закашлялся, выбросил прочь самокрутку.

— Фу ты, совсем здоровья не стало... Понимаешь, привыкли мы как-то друг к другу, приладились. Прикипели. Она знаешь какая рукодельница, какая мастерица! Золотые руки! Мне б давно такую бабу, я б, может, и злодействовал бы поменьше...

— Эвона как! — присвистнул единственным зубом Верлиока.

— Ну и бес меня попутал, — продолжал Кощей. — А может, не бес, а это самое — судьба!

— Непорядочки, — прокрипел оборотень Михеич. Оказывается, он тоже вышел перекурить, обернулся лестничными перилами и, оставаясь незамеченным, слышал весь разговор. — Непорядочки это, господа хорошие. Мезальянс получается.

— Не мути трясину, Михеич, — сказал Верлиока, — эвона как!

— Да я чего, я так, ничего почти, — стал оправдываться оборотень. — Я даже не о том толкую, что наш нечистый народ ентот артефакт иначе толковать будет, — это и ужу понятно. Я о том говорю, что есть ещё одна сторона дельца — личная. Баба, Кощейюшко, она кого хошь до греха доведёт, хоть и нашего брата — нечистого. Я, конечно, того, не осуждаю, только предостеречь хочу. Семейная жисть — она, братцы, к мысли располагает, она мыслёй чревата. Начнёшь размышлять, задумываться привыкнешь — а там и до срамоты недалёко. Не заметишь, как

сам в себе кончишься — в смысле злодейства и эгоизмуса. Добреньким станешь, малахольным, как Марьин прежний ухаживальщик. Вся сила во мху болотную утекёт, только её и видели. С бабой повидёсси — сам бабой обернёсси. А? Или не прав я?

Кощей и Верлиока задумались, по второй сигарке запалили...

А промеж женщин в это время свой разговор складывался.

— Ты, красавица, по какой причине на такой бабий подвиг решилась, — интересуется кикимора Людка, — по любви или из расчёту?

— По любви, тёть Люд, — отвечает Марья. — Правду говорю, тёть Люд, — хотела Марья прибавить: «Вот те крест!» — да остереглась: у нечисти свои устои, свои приговорки и верования, сразу так с посторонним уставом влезать не стоит. — Спервоначалу-то я, конечно, испугалась, — продолжает, — рыдала горькими слезами, тосковала по родине потерянной, судьбу такую никак принять не решалась. А потом слёзы высушила, пригляделась — смотрю, а всё не так уж плохо...

— Чего ж тут плохого? — без спросу вмешалась в разговор кикимора Зинка. — Замок отдельный, закрома немереные, яблочко на тарелочке, скатерть-самобраночка, кошелёк-самотряс! Я б сама такой подвиг совершила б — по самой что ни на есть любви, без расчёту.

— Ага! Только рожей не вышла! — задразнилась Людмила и Зинкину стопку опорожнила внаглую.

— Зря вы так, тёть Зин, — покачала головой Марья. — Я сюда не по своей воле попала, у меня перспективы за Кощея Феофаныча замуж выходить в планах не было.

Только человек предполагает, а судьба... корректирует. Знать, на роду мне было написано сделаться Кошечевой женою. Я в нём человека увидела, самого обычного человека — мужика беспомощного. Гляжу: погибает боббель без крепкой женской руки, ржавеет и мается от личной неустроенности. Я и пожалела — тут помогла, там объяснила, здесь подмела, там заштопала. Он ведь в быту — пенёк пеньком. Всё б ему злодейства да сражения, тут он на коньке, а как с конька слезет — хуже дитяти малолетнего, хоть за руку води. То всякую падаль ест, то яды пьёт без разбору, а однажды, как похолодало, вместо ушанки шапку-невидимку напялил и сам себя сутки найти не мог!

— Да, — сказала Зина, — теперича он себя вообще найти не смогёт. Ему теперича не до злодейств будет. Пропал Кащик для нашенского обчества.

— Ты щебечи да не защечивайся, — рекомендовала Людка. — За такие слова по шее схлопотать можно!

Чудом удалось Марье сестёр вздорных успокоить — чуть было не ознаменовали свадьбу женской сварой...

А поп Трофим знай себе пьет горькую, изо всех кувшинчиков пробует поочередно и вперемешку. До того напробовався, что с места сойти не может, только рожки кикиморам корчит, сально подмигивает. И вот, когда торжество за полночь перевалило, попытался отец Трофим встать, чтобы выйти из-за стола. Поднял тела со скамьи, а дальше нести не может! И рухнул обратно всем своим прогнившим существом, левой щекой прямо в солёные рыжики уместился. А народ внимания не обращает, народ уже и сам горазд скамейки ронять да в блюдах отлеживаться. Поэтому и не заметил никто, как у того пьяного попа из-под рясы выползла на стол змейка размером

со столярную тесьму, зелёная и с пунцовой полоской на спинке. Выползла, под миску с рыжиками юркнула и дальше промеж столовых приборов поспешила.

Стекла переливчатой струйкой со стола, проскользнула между ногами пляшущих и направилась прочь из залы. Один только Кощей ее заметил — выпил он сегодня мало, остроты зрения не утерял, а в сумерках оно у него только обострялось.

Пока Марья с отцом Трофимом возилась, тряпочки моченые прикладывала да снадобье волшебное в ноздрю впихивала, Кощей вышел в замковый коридор, углядел на каменном полу едва заметный влажный след и пошел туда, куда змейка уползла.

Привёл след в подземелье, в каменный мешок, где когда-то он, Кощей, особо буйным пленникам укорот давал. Марья недавно все пыточные инструменты вынесла, очистительными травами промыла всё дочиста и ледник здесь соорудить задумала — чтобы продукты на зиму хранить. А пока в комнате шаром покати, кипятком окати: пусто. Деваться змейке некуда, загнал ее Кощей в каменный угол, ногой хвост прищемил, потом в руки взял, к лицу поднёс.

— Ага, — говорит, — попалась, гостья непрощеная!

Змейка языком своим гибельным возле Кощевых глаз постреливает, а ужалить не решается — не по зубам ей данный субъект.

— Выкладывай, — говорит Кощей, — с чем явилась?

Шушукнула что-то змейка ему в самое ухо, ядом обожгла. Кощей в руке её смял — едва не удушил.

— Будешь, — говорит гневно, — за то служить мне отчаянно, жизнью долг отплачивать!

В этот миг сверху, из гостевой залы, грохот и гул слышался. Это дядька Вий гопак отплясывал, на ногах не удержался — своды затряслись, свечи дрогнули. Бросился нечистый люд его поднимать, да слишком тяжёл чучело — машет конечностями, как перевернутый жук, телом егозит, а назад перевернуться не может.

— Поднимите мне веки! — вопит. — Веки поднимите! Прищемили же!..

Вернулся Кощей в зал мрачнее прежнего, взгляд тяжёл — хоть утюги передвигай. Смотрит — свадьба расползлась по швам, никто о виновниках торжества не вспоминает. Даже слуги Кощевы подносы побросали и с кикиморами в «блинчики» играют. Хорошо ещё, народу немного, а то развалили б весь замок до фундамента!

А Марьюшка в голове стола сидит одиноко, бледная, руками за голову держится — ей этот бедлам уже не под силу разруливать! Кощей как на неё глянул, так вся мрачность с него сошла.

— Нехорошо тебе? — спрашивает.

Кивнула Марья, ладошкой перед лицом помахала — ветерком себя овеяла. Кощей её поднял, за талию приобнял, а потом посмотрел вокруг — и рукой повёл повелительно.

— Ап! — говорит.

Замерли гости — будто в момент заморозились! Только дядька Вий конечностями шевелит, подняться пытается — нечистой силы в нём столько, что сам Кощей над ним власти не имеет.

— Хватит, — говорит Кощей Марье в образовавшейся тишине. — Пойдём, зазноба моя, в опочивальню,

не могу больше своё целостное счастье в этом кабаке разменивать!

— Пойдём, — кивает Марья-Выдумщица. — Воздухом подышим, на звёздочки посмотрим, с месяцем поговорим.

И пошли они в свой обжитой уголок, что на шестом этаже Кощеева замка. Вышли на балкон, стали звёздочки считать. Десяток сосчитают — целуются, ещё сочтут — снова целуются, и так до бесконечности вселенской.

И вот тут-то забыли они, кто чистый, кто нечистый, кто смертный, кто бессмертный, кто стар, а кто молод, кто богат, а кто беден, — обо всём на свете забыли, такое сказочное забытьё на них навалилось. Здесь, под звёздами, и свадьба настоящая у них случилась, и Месяц-батюшка протрубил им в перламутровый рог, и невестомые их судьбы крепко-накрепко перекрутились и связались прочным земным узлом.

В четыре утра, ещё до первых петухов, захрапел на весь замок дядька Вий — подпортил свадебную идиллию. А в остальном — удался праздник!

Через семь месяцев у Марьи-Выдумщицы и Кощея Бессмертного родился сын.

Назвали первенца по-человечески — Иваном.



# Часть Первая





# 1. Кощей Бессмертный

А теперь и сказку начинать пора. Потому как настала такая сказочная потребность. Сказка — она ведь сказке рознь. Одну сказку да к другой сказке, да третьей сказкой приправить, да с четвёртой перемешать — глядишь, и не сказка уже, а самая заветная быль!

Вот так и у нас получилось — была сказка, да обернулась былью. Потому как двадцать лет прошло и всё в замке Кощеевом переменилось. Самая главная перемена — стал Кощей здоровьем совсем слаб, все болезни на него разом навалились и довели до полной злодейской профнепригодности. Слёг бессмертный в постель, лицом зачерствел, телом сгрибился. И раньше-то худощав был, а теперь вовсе кожа, кости да некоторые металлические детали организма. Не до злодейств супостату, не до колдовства, свелись все заботы к суровому прожиточному минимуму: кашки похлебать да во двор до ветру выползти.

Почему вдруг случилось с Кошеем такое, никому не ведомо. Жил да жил пятьсот лет, вредными привычками злоупотреблял на полную катушку — и ничего, а тут

вдруг в три года скрутило ирода в пеньковую веревку. Были, знать, на то причины, были, да только мало кто о них догадывался. Ведь о кощеюм истощении мало кто знал, только жена Марья да сын Иван. А на слуг Кощеевых Марья заклятье навела: пусть только попробуют языком на стороне лишнее болтать! То есть Марья никакого заклятья всерьёз навести не смогла б, но взяла прислугу на испуг: дескать, кто не верит, пусть попробует. Умная женщина Марья, ничего не попишешь. Это она решила окрестное население о бедственном положении Кощея не извещать. Иначе, думает, стабильность в мире нарушится, понаедут богатыри сводить счёты с немощным узурпатором. На лёгкую победу мало ли охотников!

Марья-Выдумщица главенство в семье взяла задолго до того, как болезни Кощея к койке приковали. Вскорости после свадьбы всю инициативу у мужа перехватила, стала им командовать и хозяйством распоряжаться единолично. Кощей не сопротивлялся, ибо влюблён был до беспамятства, до полного паралича воли. А когда опомнился, менять что-либо было уже поздно. С той поры махнула жизнь своим флюгерным хвостиком и повернулась к лесу передом, к Кощею задом. Стал он к своим обязанностям формально относиться, без огонька, без задоринки, а потом вовсе затух — перегорел. Перестал злодейничать, превратился в мелкого нервозного ворчуна, лишь домашних и мучил — только на них теперь пороху хватало. Стал Кощей Бессмертный о смерти задумываться, литературу всякую почитать. В общем, всё случилось, как предрекали оборотень Михеич и кикиморы, типун им всем на язык за такие предсказания!

Кикиморы первое-то время в доме ошивались, подкармливались с Кощеева стола, Марье по замку да в поле помогали, но потом пошла у них интрига, стали они рожи за Марьиной спиной строить да фиги в карманах держать: мол, мужик-то Марьин — того, совсем под подол подлип! Марья это почувствовала и, как только власть свою в полный вдох ощутила, так и прогнала родственников в болото, с глаз долой.

Нацепила Марья-Выдумщица на передник ключи от всех замков и взяла в свои ловкие работающие руки всё Кощеево хозяйство — от чердака до подвала, да и пустилась помогать окрестным крестьянам, особенно малоимущим. Обеды бесплатные устраивала (благо скатерть-самобранка всегда под рукой), для детишек ёлки разыгрывала, леденцы по воскресеньям рассылала. Раздавала просителям монеты из кошелька-самотряса, но не бездумно раздавала, не транжирила, а развела, как в народе говорили, бюрократию и политес. К каждому нуждающемуся подходила индивидуально — не из скупидомства, а только из осторожности; она-то уяснила себе, что есть волшебство и как оно может некрепкого человека надломить да на изломе высосать.

Замок Кощеев, благодаря Марье, за эти годы преобразился и благоустроился. Раньше что в нём было — тень, плесень, сырость, а теперь — свет, газ, горячая вода, подъёмная машина, на каждом окне занавески, на каждой двери ручка и шпингалет. Всё это Марья-Выдумщица своей головой придумала и в жизнь воплотила. Даже поклеила в рыцарских залах обои в клеточку, даже в винном погребе повесила по стенам полочки и крючки для кружек — не замок, а дом культуры! Марья и думает: зачем такой огромной жилплощади в праздности

пропадать, и так всем по отдельной комнате выделено, включая малоинтересных слуг, а в зальных помещениях можно гостей принимать! В бывшей пыточной устроила Марья библиотеку для сельских ребят, в перестроенной душегубной палате определила лекционный зал. Приглашать стала и своих, человеческих, и нечистую силу, а поскольку одни с другими особо пересекаться не любили, то по чётным дням принимали нечисть, по нечётным — людей. В выходные тоже через раз увеселительные вечера устраивали.

В общем, замок жил теперь подвижной общественной жизнью, кипел и посвистывал, как чайник с кипятком. Только Кощей, бедняга, не радовался — изнемогал не по дням, а по часам, и по чётным, и по нечётным — одинаково. Скоро превратился в чучело человекообразное, смотреть мучительно стало — мумия да и только.

Одно развлечение у Кощея осталось: смотреть человеческие новости, всякие успокоительные сказки и приключения. Для того дела рядом с кроватью на тумбочке положено было волшебное блюдце с яблочком — катнёшь яблочко по блюдцу, весь мир в нём отражается, всё интересное показывают в цвете и со звуком.

А в то утро, с которого наша сказка начинается, вышло с Кошеем недоразумение. Мелкое, но уж больно неприятное. Кощей ведь не только телом слаб стал да духом мягок, он и разумом поизносился: память подводить стала. Проснулся и не помнит, кто он. Долго лежал, вспоминал, в зеркало смотрелся, тень собственную на стенке опознавал. Что, думает, за спичка обгорелая? Потом обернулся, увидел свои былые портреты, по стенам

развешанные, — и только тогда что-то припомнил. А как всплыла в голове автобиография — так и самому страшно стало.

С горя сел Кощей на кровати, ножки цыплячьи свесил, взял с блюда яблоко и стал от него ножичком кусочки отрезывать да в рот складывать. Долго каждый кусочек обсасывал — без зубов иначе нельзя. Когда уж от яблока четвертинка осталась, Кощей как током прошибло: это ж фрукт не для еды, это ж волшебный инвентарь, из комплекта с блюдцем! Ай-ай-ай! И напал на Кощею двойной отчаянный страх: во-первых, он теперь без окна в мир, а во-вторых, от Марьи попадёт.

Марья, когда сообразила, в чём дело, только руками всплеснула да ключами на мужа замахнулась.

— Ах ты, — шипит, — сапог медный! Кость суповая! Ты что же, мракобес, безобразничаешь!

Кощей тихо лежит, только одеяло на глаза надвигает — знает по многолетнему опыту, что лучше перетерпеть, пока жена весь пар не выпустит. А Марья только ещё начала, только приступила — столько у неё в словарном запасе эпитетов, что не все в сказке упомянуть возможно, на некоторые перо не поднимается! Таковую Кощею отповедь устроила, что портреты на стенах — и те в краску вошли.

Слуги Кошечевы в таких случаях берушами пользовались или воск свечной в уши засовывали — защитят слух и ждут пятнадцать минут. Потом — ничего, можно уже пробки из ушей вынимать. А ведь пока Марья в замок хозяйкой не вошла, ничего эти твари не боялись, сами могли кого хочешь испугать до смерти.

А жена всё горланит, не прерывается:

— Где я теперь новое волшебное яблочко найду, ущерб ты скупосый! Еды ему мало!

И как шмякнет осиротевшим блюдечком об пол! Только дребезги по стенам разлетелись. Всё, теперь весь комплект из строя вышел — ни яблочка, ни блюдечка.

Марья лишь после этого звона остановилась, опомнилась, присела в изнеможении на край кровати Кошечевой. Муж из-под одеяла лицо показал, болезную руку к столику протянул, дал ей отпить живой водички из стакана. Марья хлебнула пару раз, потом успокоительных капель накапала, тоже выпила. Стала к ней природная бабья мудрость возвращаться.

— Прости, Кашик, — говорит мужу и по лысине гладит. — Не сдержалась. Нервы, мироедушка...

И поцеловала его в сморщенный лобик. Ладонкой стала осколки с постели смахивать.

— Сейчас подмету, — говорит. — Люди сказывают, это к счастью, когда посуда бьётся. А в нашем замке вся посуда железная — вот и поди сыщи с ней счастье-то! Это блюдец единственный в доме фарфор был. Знать, какое-то единственное счастье на нашем горизонте обозначилось.

— Неужто счастье? — скулит Кощей.

— А ты не бойся, старый, переживём. Всё переживали, и счастье переживём.

Сходила Марья за веником и принялась осколки в кучку сметать. Подмела, навела в спальне порядок, одеяло поправила. Ещё раз вздохнула да уже идти хотела, а тут вдруг Кощей голос подал.

— погоди, — говорит, — Маруся, постой. Есть у меня к тебе разговор важный. Не могу больше, Маруся. Никакого терпения не осталось, никаких сил. Зови сына, буду его о главном просить.



## 2. Иван, Кощеев сын

Ивану к тому сказочному моменту двадцать первый годок пошёл. Только он, несмотря на такой серьёзный возраст, совсем ещё неоперившийся молодец был — сила есть, энергии хоть отбавляй, а приложить не к чему. Он же ничего, кроме замка родительского да близлежащих территорий, не видывал. Выберется, бывает, в деревню — с девицами подружится, с парнями подерётся, или наоборот — в лес прогуляется, на болоте с русалками словом перекинется, с лешим свару затеет... Только разве это для двадцатилетнего лба школа жизни? Привык на всём готовеньком жить: что хочешь папашка достанет, за ценой не постоит, всему мама научит, ей премудрости долго разыскивать не надо. Но ведь своим умом пора молодцу жить, своими руками необходимое добывать!

А самая большая загвоздка в том состоит, что до сих пор никто понять не может — смертный Иван или же бессмертное получудище? То есть по материнской линии пошёл или по отцовской? И никто ответить не может: гадалок да ворожей о том спрашивали, у колдунов интересовались — в их практике ещё такого брачного курьёза не встречалось. И существует Иван как бы под вопросом, как бы в неизвестности — сколько ему отмерено? От постоянной на эту тему задумчивости на лице несколько складок образовалось — не по возрасту взрослых. И в натуре переплелись черты великовозрастного дитяти и юноши, готового к важным жизненным

свершениям. Он внешне и на маму похож, и на папу, смотря какое настроение преобладает. То он властен и рассудителен, а то злобен и воинственен. Плечами широк, ростом статен, хоть кость узкая, — это всё в отца. Зато лицом румян и рукой тяжёл — это в мать. С виду вроде человек человеком, а когда разозлится, всё тело холодной судорогой сводит, кулаки каменными становятся, торс покрывается кольчужными мурашками и по суставам проступают металлические элементы — всяческие заклёпки, шестерни и тумблеры. И становится Иван опасен для окружающих и для самого себя. Потому и людей сторонится. Но и к нечистой силе не спешит примкнуть — ей он ещё более чужд. А какая у него сущность — этого никто ни словом, ни делом не определил, потому как Иван растёт задумчивым лоботрясом, ремёслами не занимается. Никто ему особо не близок, всёто он особнячком да закоулочком. А ведь пора уже проявляться — по годкам судя, перезрелок, в деревнях парни в этом возрасте уж детей своих вовсю ремнём порют, не стесняются. А у Ивана интересы детские, какие бывают у единственного в семье ребёнка: в солдатики поиграть, книжки почитать, подумать вдоволь, да в окно посмотреть, да рыбу поудить или же в лес за грибами прогуляться. Один всё время Иван, с родителями — так себе отношения. Такая у них семья: вроде все вместе, а на деле — каждый по себе. Будто расщепила их родовое древо молния, и пошли все побегии расти в разные стороны.

Пришёл Иван к Кощею, встал перед ложем отцовским весь из себя горделивый и самостоятельный, руки за пояс засунул, морщится от лекарственных запахов. Давненько не был Иван в отцовских палатах! Глядит на сына

Кощей Бессмертный, сказать что-то хочет, а что сказать — забыл: склероз!

— Э-э-э... — кричит, одеяло поправляет.

А одеяло короткое: на шею подтянет — ноги гольшом остаются. Увидел Иван эти ноги старческие, с синими ногтями, с жилами корневидными, с узкими покойницкими пятками — сразу вся спесь с него сошла и румянец по пути стёрла. Стало Ивану отца так жалко, будто не бессмертный ирод перед ним, а самый обыкновенный пшиковый старик. Иван, может быть, впервые через эти босые конечности к бабушке почувствовал любовь и соучастие.

— Ты чего, Иван? — спрашивает Кощей.

Иван, чтобы смущение скрыть, принялся постель поправлять, ноги отцовские под одеяло убрал. Стоит в растерянности.

— Ты присаживайся, Ваня, — говорит Кощей, а сам руками шею свою цыплячью прикрывает — он про ноги-то догадался, теперь не хочет, чтобы сын остальную худобу разглядел. — Мне с тобой поговорить надо. Только я не помню, о чём. Вся память из головы ушла, а в каком направлении — не сказала.

— Ничего, батя, — говорит Иван. — Сейчас вместе вспомним. Одна голова хорошо, а две лучше.

— Во-во, Вань. сосед мой, Тигран Горыныч, тоже так говаривал. А сам голов-то своих не жалел, много у него их было. Одной головой, говорит, больше, одной... Погоди, Вань, это я к чему?

Кощей на локте приподнялся, озирается, водицы живой испить ищет.

— Вот оно, — говорит, — сынок Ванечка, бессмертие моё: смотри внимательно. Кому такой бессмертник нужен, калека бессмысленный!

А Иван и так с отца глаз не сводит, взглядом всю эту метаморфозу понять пытается. Кощей его взгляд отметил, рукой махнул, шею перед сыном открыл. Иван, как это горлышко с кадычком увидел, чуть не заплакал.

— Усох ты, батя. Наверное, того... ешь мало, — говорит с сомнением и кружку родителю подаёт. Молчать страшно — всякие мысли сразу в голову лезть начинают, за живое надкусывают. — Слышал я, что у Тигран Горыныча голов совсем ничего осталось, две-три, — говорит он.

— Вот и я толкую, Ваня, — отзывается Кощей, — не храним мы то, что нам дадено. Не храним... Я вот, к примеру, тоже... Постой...

Иван опять кружку отцу подаёт. А тот отводит: не то, мол.

— Погоди-ка, Ваня... Я, кажется, вспомнил, о чём с тобой переговорить хотел.

Иван поближе к отцу подвигается, а Кощей тоже тянет к нему мощи свои, бородкой перед носом, как флажком, трепыхает.

— Я ж, Ваня, попросить хотел... Просьба у меня к тебе важная... — не знает Кощей, как к главной теме подступиться, всё вокруг да около бродит. — Хотел я тебя, Иван, просить, чтобы ты на меня злб-то не держал.

— Ты чего, батя! Я на тебя никогда злб не держал, это ты меня с кем-то перепутал.

— Вот и не держи. И я на тебя никаких злб не держу. Я, Ваня, даже рад тому, что мы с тобой во взглядах на жизнь расходимся в разные, так сказать, направления.

Иван глаза отвёл, в пол уставился. А Кощей продолжает в здравом уме, в трезвой памяти:

— Совсем я плох, Ваня. Себя не узнаю. Семейная жизнь, Ваня, всю природу мою изменила, кроме, так

сказать, последнего пункта. И ведь даже не знаю — хорошо это или плохо, не пойму никак! Голову сломал. Ты малой ещё был, меня, наверное, в прежнем виде и не помнишь...

Оба невольно на стены глянули, на портреты Кошцеевы в прежнем статном виде, в полной боевой амуниции.

— Помню, батя, — говорит Иван. — Я, батя, тебя молодого хорошо помню.

— Да... Мне тогда, стало быть, четыреста шестнадцать было. Вон каким гоголем пыжился, а! Да... А всего-то, Вань, двадцать лет прошло, и вместо гоголя — моголь. А ещё точнее — немоголь!

Кощей рукой махнул, горько хихикнул, отвалился на подушку. Отвёл взгляд в потолок, заговорил хрипло и негромко, будто нотацию вычитывал.

— Раньше-то я, Ваня, ветер в голове носил, жил на все четыре стороны. Куролесил, одно слово. А как стал с человеческой женой жить — с твоей, стало быть, матерью, — так начал задумываться, размышлять о содеянном, некоторые поступки с критической точки зрения пересматривать. Пошли у меня, Ваня, сожаления всякие, кризисы и угрызения... страшно сказать, Ваня... совести. До самоедства, сын, докатился. Раньше-то здоровье железное было, а как стал задумываться и совесть прочувствовал — так хвори начались, болезни подступили. Стал я, Ваня, таять, как размятый пластилин. По металлическим местам — ржавчина, по сухожилиям — дряхлость. Понял я, Ваня, что жил неправильно, паскудно жил. Большую половину бессмертия потратил чёрт знает на что! Больно мне теперь, Ваня, мучительно больно! За бесцельно прожитые столетия. Сколько я всего начать-то мог, да уж и закончил бы к сему моменту...

Зашёлся Кощей в кашле. Иван водички в стакан налил, да отцу дать никак не может — того кашель по постели таскает, встряхивает. Насилу успокоился Кощей, до всхлипов докашлялся, до икоты. Отпил два глотка, откинулся обратно на подушку, постонал немного. Потом будто бы вспомнил, что о важном с сыном разговаривает, — встрепенулся, бровями заводил.

— Пришли ко мне, — говорит, — Ваня, болезни неизлечимые. Застали меня врасплох, взяли за горло. Страдаю, Ваня, от болезней этих. Шибко страдаю, — голос у Кощея дрогнул, пронзительной нотой скрипанул. — Болезни, видишь, неизлечимые, а больной-то, как на грех, бессмертен! Налицо — конфликт неразрешимостей. Вот и выходит, Ваня, что суждено мне бесконечное страдание!

Ещё помолчал Кощей, дух перевёл. Далее продолжает:

— Я ведь, Иван, давно во всех грехах покаялся, всё прошлое самоосуждающим взором перелопатил, а избавления всё нет... Ваня, сынок, на тебя уповаю. Только ты можешь от страданий отца избавить. Не могу больше терпеть, нет моих больше сил!

— Что ж ты хочешь-то от меня, батя? — спрашивает Иван.

Кощей на локотках приподнялся, бородкой Ивану прямо в подбородок тычет, хрипит. Изо рта ржавым железом пахнет.

— Ты поди, Ваня, по свету, найди смерть мою...

Иван отпрянул от отца, чуть со стула не слетел.

— Ты чего, батя?! Зачем тебе?

— А-а, — хрипит Кощей и обратно в постель валится. Закрыл глаза — совсем тяжело старику, того гляди в беспамятство рухнет. Из последних сил слова из души вытаскивает.

— Мне, Вань, уговаривать тебя трудно. Так что ты не ломайся, выполни просьбу отцовскую, безо всяких там сантиментов и прочей чепуховины. Очень тебя прошу.

Иван помедлил немного, обдумал отцовские слова, потом встал с кровати — вроде как согласие даёт, но словами вымолвить не может, а только фигурой своей, выпрямленной в рост, готовность показывает. Кощей с облегчением глаза прикрыл, даже улыбнуться постарался ртом обеззубевшим.

— Я, Вань, дурака сваял, — говорит Кощей, глаза заново открывая. — Я ту иголку, в которой смерть моя теплится, так от всех добрых молодцев прятал, что сам вконец позабыл, где она. Склероз, одно слово. Позавчера помню, а сегодня упускаю. Из рук вон, Ваня. Ты вот что, пока не забыл: вырастешь — зла не делай, до добра это не доведёт.

— Так где, где игла-то, батя?

— Чёрт её знает! Не помню.

Сказал — и к стенке разворачивается. Иван думал, что отец слово своё закончил и уснуть собирается, шаг назад сделал. Ан смотрит — нет, не спать Кощей собрался, а что-то из-под перины вытаскивает, какую-то заначку в тряпочке. Стал тряпицу разворачивать — не управился, всё из неё на пол посыпалось. Кощей дёрнулся, да замер от боли, глаза закатил, лицом пожелтел. Иван поспешил собрать, что укатилось, а сам на родителя смотрит — и сердце сжимается от созерцания: не умещается этот съеденный болезнями сморчок в Ванином сердце, разрывает его на кусочки!

Кощей носом дышит — громко, замедленно; языком во рту звуки нащупывает. Наконец чмокнул языком — нашёл, видать, что-то.

— Прости, Ваня, прости, сынок, — говорит. — Надо бы тебе в помощь средств чудесных выделить, да я, дурья морда, всю жизнь только о злодействах помышлял, все походные чудеса по ветру пустил. Осталось у меня три чуда, да и те — не чудеса, а так, мелкие пакости. На вот, забирай. Как их во благо использовать, не знаю — по ситуации сообразишь.

Ожил немного Кощей, от боли оправился; левой кистью обшаривает предметы, которые Иван на тряпочку возвернул, да по одному выдаёт.

— Вот это номер один: клубок-колобок непутёвого сорта; уводит всегда не туда, куда надо. А вот второй: глиняный божок — волшебный рожок; стоит в него дунуть, как всякая нутряная гадость наружу вылезает. И ещё третье: от чёрного цветка Подлунника белое семя — внутри него яд усыпительный, сон упоительный, убивает намертво. Не знаю, для чего, — вдруг да пригодится. Э-эх, — вздыхает, — а доброго у меня добра нет, не припас, одна только злоба злобная в наличии...

И заплакал Кощей Бессмертный — так ему себя жалко стало, так обидно за жизнь пустопорожнюю, за бессмертие бессмысленное.

Долго ли, коротко сидел Иван возле отцовской постели, только Кощей слёз довольно выплакал и стал наконец засыпать. Как только Иван похрапывание ощутил, так думы прогнал, встал осторожно и к двери на цыпочках крадётся. Но возле самого выхода вдруг чувствует: храп заглох. Ваня уши наострил и слышит, как тихо-тихо, из последних сил зовёт его Кощей Бессмертный:

— погоди ещё, сынок.

Остановился Иван, к ложу вернулся, ждёт.



— Я главное не сказал, — сипит Кощей. — Самое главное, Иванушка.

Иван ещё ближе к отцу голову нагнул, чтобы слова расслышать.

— Ты, когда эту иголку найдёшь... Ты ж найдёшь её, Ваня?

Иван головой кивает, за руку отца взял.

— Ты её того...

— Чего «того» батя?

— Того... Разломай её, значит, напопо... на-по-по... лам. Да?

Ничего Иван не ответил, только всего его в краску бросило. В груди тревога поднялась, забилося пойманным воробьём молодецкое сердце. Оставил он отцовскую руку, встал с кровати и вышел поспешно.

### 3. Марья-Выдумщица

Никогда ещё Иван так надолго не покидал окрестности замка. Перспектива дальнего многотрудного путешествия и радовала его, и пугала. Первым делом Иван поставил в известность мать. Марья не удивилась — умная была. Вместо всяких охов да ахов спросила:

— Завтра в дорогу двинешься или прямо сейчас пойдёшь?

Иван затылок погладил, окинул взглядом замок, будто примеривался, когда его оставить легче, да и отвечает:

— А чего откладывать!

Марья кивнула кротко, вздохнула да и стала расстилать самобранку: перед дальней дорогой, думает, самое главное — как следует подкрепиться.

Иван на этот счёт возражений не имел: сел за стол, принялся уплетать с удвоенным усердием, чтобы впрок захватить, а мать тем временем достала из закровов добротный старенький вещмешок и принялась снаряжать сына в путь-дорогу. Уложила тёплое исподнее, шерстяной кафтан, опасную бритву...

— Вот это, мам, тоже спрячь, — просит Иван и протягивает ей предметы, которыми папаша его снабдил.

— Что это такое? — спрашивает Марья.

— Батя дал. Чудеса вспомогательные. В дороге пригодиться могут.

Марья Кошечевы подарки осмотрела, фыркнула.

— Выкинь, — говорит, — эту гадость. Это ж одноразовые чудеса, китайскими чародеями сделаны — не для души, а на продажу. Толку от них чуть, одна морока.

И отбросила их под лавку.

— А чего же мне с собой взять? — удивляется Иван.

— А вот я тебе тут приготовила, — и пошла Марья в мешок одно за другим вкладывать. — Пирожки тут, сырники со сметанкой, халва, вяленая рыбка... В общем, хватит на первое время. Только ты сухомяткой-то особо не увлекайся, как только возможность представится, горячее ешь, суп, кашу. Понял?

— Да понял, матушка, понял. А чудес-то ты мне каких-нибудь выделишь?

Марья на сына с укоризной смотрит.

— Вань, ты как дитя малое. Нешто я тебе сотню раз не говорила, чтоб от чудес да колдовства подальше держался!

— Но тут же такое дело... — мнётся Иван. — Всё ж таки надолго иду, неведомо куда! Хоть бы скатерть-самобраночку там или коврик летающий...

— Значит так, Иван, — Марья на строгость перешла. — Ты мне брось эти замашки — лишь бы не работать! Человек ты или сила нечистая? Не знаешь? Вот иди и выведай. Своими, как говорится, руками, своими ногами, своею собственной головой. Уяснил?

Иван, пристыжённый, кивает, ремень к мешку прилаживает. Марья, чтобы смягчить отповедь, говорит:

— А ковёр самолётный твой папаша Тиграну Горынычу подарил, лет семь тому... Ковёр уже совсем плох был, летал низко, погоды нелётной боялся, вот мироедушка его и смахнул не глядя, хотел змея щедростью восхитить. А Тигран Горыныч даже спасибо не сказал —

ни слуху от него, ни духу: видать, шибко обиженный. Ты, когда по Лесному царству пойдёшь, Тиграну на глаза не попадайся, понял?

Иван головой кивнул, медку хлебнул, рот рукавом вытер, рукава о штаны обтёр. Встал из-за стола, поклонился хлебу-соли.

Всплеснула руками Марья:

— Да что ж это я всё болтаю! Ведь тебе ж выходить сейчас! — и вдруг в слёзы.

Пока отвернулась она к печке да полотенцем слёзы собирала, Иван отринутые чудесные предметы из-под лавки достал и в мешок шустро сунул — на всякий случай. Всё ж таки, думает, совсем без чудес нельзя в пути!

— Ты, сынок, — поворачивается Марья, — при первой возможности весточку присылай — с голубем там или по морю с бутылкой. А я всех предупрежу, чтобы в курсе нас держали. Видишь ты, не вовремя мироедушка блюдце наблюдательное попортил!

— Ничего, мама, — говорит Иван, — ты не беспокойся. Я себя в обиду не дам, да и кто ж меня — сына самого Кощея Бессмертного — тронуть посмеет!

— На отцово имя не надейся, — упреждает Марья, — это вокруг замка оно силу имеет, а чем дальше от дома, тем эта сила сомнительнее. Как бы твоя родословная тебе боком не вышла. Лучше сам себе имя доброе зарабатывай.

— Хорошо, — смеётся сын, — а бессмертность тоже самому зарабатывать прикажешь? Или она по наследству передаётся?

— Не в бессмертии сила, Ванюша, — отвечает мать. — И счастье не в бессмертии.

Надел Ваня мешок за плечи, постромки подтянул по размеру. Марья как увидела его, совсем готового в путь,

так сердечко заныло-заскребло. Она к груди сыновней приложила, ладошкой погладила, так и хочет сказать: не ходи, мол, сынок, никуда, не надо! Но понимает — надо. И Иван мать к груди прижимает, — давно между ним и родительницей такого близкого заединства не было.

— Мам, — басит Иван.

— Что, Ванюша?

— А мне что — иголку-то и вправду, что ли, разламывать? Или сюда принести?

— А как мироедушка-то сказал?

Иван замялся, взгляд отводит, грудь чешет.

— Он... не успел сказать. Уснул он.

Марья вздохнула облегчённо.

— А ты, — говорит, — сам решай. Подумай — и поймёшь. Или нет: лучше сердца своего слушайся — оно точно не обманет. Голову задурманить можно, а сердце даже самому искусному обману не подвластно.

— Э-эх! — вздыхает Иван, затылок ладонью разглаживает. — Сначала надо ту иголку сыскать! Задача...

— А ты вот что, — говорит Марья. — Ступай перво-наперво к няньке своей, Яге Васильевне. Она завсегда души в тебе не чаяла, авось и теперь в помощи не откажет. Может быть, знает старая карга, где трофей ба-тюшкин искать, хотя бы направление подскажет.

Объяснила Марья сыну, как в лесу избушку найти, точный адрес на бумажку записала.

Вышли мать с сыном на двор — пришёл час прощания.

— Мимо болота иди, — Марья говорит, а сама слёзы едва сдерживает, — а потом возьми ориентиром колодец, в котором в позапрошлом годе отец Трофим утоп. От

того колодца смотри всё по памятке мо... — не договорила, всхлипом подавилась.

Иван говорить не стал, обнял мать одной рукой, поцеловал в волосы и — из ворот вон. Пошёл, не оглядываясь.

Глядит Марья вслед, косыночкой машет.

— Ступай, сынок, — вздыхает тихо. — Может, себя найдёшь. Коли вернёшься — значит, бессмертный ты, Кощей Кощеевич. А не вернёшься... стало быть, другая у тебя судьба — человеческая, зыбкая.

## 4. Заколдованный колодец

Вот уж идёт Иван, Кощеев сын, по торной дорожке, путь к лесу держит. Прошёл полем, прошёл лугом, прошёл косогором. А в природе стоит чистый апрель, без всякой посторонней примеси. Кое-где ручьи ещё пробегают, а на светлых местах уже сухость такая, что трава вершки свои показала. Почки наметились, завязь образовалась, снегу и в помине нету. В полдень солнце светит красное, позрелое, а к вечеру холодок понизу стелется, вяжет хо-докам ноги, дневных зверей в норы гонит, ночным сигнал подаёт — на охоту, мол, пора, мазурики лесные! Птахи малые вернулись из отпусков, за строительство принялись, песни на родном языке вспомнили. Словом, хорошо на свете в серёдке весны — лучше не сыскать!

Иван эту прелесть апрельскую вдыхает в себя, и голова у него кругом идёт, никак в одну сторону упереться не может, мысли прыгают ловчее солнечных зайчиков. Больно уж разное на душе у Ивана смешалось: и немощь отцовская, и расставание с домом, и вольная подорожная радость. Миновал он в думках открытую местность, вступил в лес, побрёл по просеке. Уже и ноги с непривычки поднывать стали, подкашиваться.

«Не пора ли, — думает Иван, — привал сделать, червяка желудочного заморить? — и сам себе отвечает: — Да нет, не пора ещё, трёх часов — и тех не выходил». Нашёл себе палку сухую, прочную, смастерил из неё посох — с посошком-то шагать легче!

Миновал Иван болотце, в котором его дальние престарелые родственницы жили — сёстры-кикиморы. Не увидел их: то ли, думает, померли уже, то ли прячутся днём, спят... Потом мимо лесной мельницы прошёл, возле неё тоже тишина — лопасти покачиваются от безветрия, поскрипывают, а внутри пусто, никаких признаков жизни. Жил там некогда леший — татарин Шуралей, да, говорят, на родину подался.

Наконец уже и темнеть стало, уже и морозцем в лицо Ивану подуло. Но он всё далее шагает, думает: «Дойду до лесного колодца, там и сделаю привал».

Лишь к позднему вечеру добрался Иван до означенной цели. Вот он — лесной колодец. Такого широкого колодца Иван никогда ранее не видел — будто огромная лохань. Из четырёх углов торчат лягушачьи головы — так искусно выдолблены, такие причудливые, с такими зубастыми рожами, что даже жутковато становится. Вода в колодце — не достать как далеко, верёвка у ведра длинная, бывала, в девяти местах перевязанная. Запустил Иван ведро, вытянул водицы, испил вдосыть. Вода холодная, зубы сводит, и привкус у неё странноватый — яблочным уксусом отдаёт. То питьё сразу в голову ударило, закружило её и в сон клонить принялось.

Нашёл Иван на поляне, подле колодца того, уютное местечко, пристроил под кустом орешника свой мешок, нагрёб валежника, шишек сосновых насобирал, стал костёр раскладывать. Только костра-то Ивану до того ни разу разводить не приходилось. Он думал — просто всё, а оказалось — где уж там без подготовки да с кружащейся головой!



Замучился он с костром! И так дровишки сложит, и сляк выстроит — всё равно толку никакого. Не разгорается костёр, хоть ты лопни! Половину коробка материнных хозяйственных спичек перевёл, да в конце концов плюнул на это занятие, достал из мешка кафтан, укутался в него, притулился между орешником и кочкой. Прохладно, конечно, да Иван так разозлился на дрова да на спички, что Кощеева сверхчеловечья сущность проступила в нём и временно даже верх над человеческой взяла. Поэтому Иван даже и не мёрзнет: будто покрылось его тело панцирем, а панцирь тот — на меху.

Вот стал Иван носом клевать. Сны его уже со всех сторон обступили, а тело не поддаётся, мышцы судорогой сводит. Дёрнется Иван всем туловищем и тут же просыпается, будто кто его багром поддел. И вот — взбрыкнул очередной раз, глаза приоткрыл, смотрит вперёд себя, а на небе тем временем месяц узенький закрепился, местность окружную осветил. Уж не на этот ли крючок Ивана сны подловить пытались? Поглядел Ваня некоторое время на небо, на колодец, да и собирался уже совсем заснуть, как вдруг где-то совсем рядышком лягушки запели. Пригляделся — а это резные колодезные лягушата трели выдают, квакают во всё своё деревянное горло. Чудеса, одно слово! Иван глаза продрал, уставился на певцов, а те от колодезных бортов оторвались со скрежетом и — шась! — ускакали вон на четыре разные стороны. И после этого колодец прямо у Ивана на глазах будто ожил. Задрожали стенки его, брёвна ходуном заходили, и такая оторопь по всей земле от колодца прошла, что Ивана чуть подбросило и затрясло. Сон тут же прошёл; Иван глядит на диво да глазам своим не верит — колышет колодец неведомая сила!

А из колодца что-то большое и чёрное выползает. Ивану страшно стало, хотел бы он встать да прочь побежать, только конечности его будто отмёрзли — не пошевелить. Одно остаётся — смотреть, какие дальше будут чудеса происходить. Вот Ваня и смотрит. А из колодца вылезает поп в тёмной, обвитой болотной тиной рясе — огромный, распухший до чудовищного состояния. Борода у того попа — что выдрванное из земли корневище: грязнющая, кудлатая, просевшая. Глаза пустые, голодные, и месяц в них мутным знаменьем отражается.

«Да это, — думает Иван, — никак отец Трофим! Тот самый, что в прошлом году утонул в этом колодце! Ну и разнесла же его нелёгкая! Вот ведь, однако, ужасы...»

Вылез поп из колодца, чуть вдрызг его не разворотил. Отряхнулся, рясу подтянул вверх, обнажил ноги свои распухшие, белёсые. А потом вдруг крикнул, подскочил и стал вокруг колодца бегать, будто гонит его кто-то. Долго бегал, круги нарезал, потом упал — и не встать ему никак. Ногами дрыгает, руками загребает, бородой трясёт. Наконец ухватился руками за брёвна, поднялся кое-как. Только встал, опять ему напасть — что-то под рясой заелозило, защекотало, будто змейка какая по телесам заюлила. Отец Трофим ловить её стал, извертелся весь, такого трепака выдаёт, что смотреть совестно. Наконец та невидимая змейка к самому горлу подкралась, — поп сначала замер, а потом крикнул и зашёлся в родимчике, руками за горло хватается, ртом воздух ловит. И в беспмятстве ногами переступает прямо в сторону Ивана — будто даже смотрит на него, будто помощи просит. А Иван с места сдвинуться не может — приморозил его к земле мелкий человеческий страх. И не столько страшно ему,

сколько брезгливо — от одной только мысли, что сейчас этот живой труп в него упрётся своим неприятным водянистым существом. А поп приблизился к Ивану вплотную и вдруг пропал — распался на росинки, в туман превратился.

Снова всё тихо и спокойно стало вокруг. И внезапное это спокойствие обдало Ивана таким перинным теплом, что он тут же и утонул в том тумане, как в постели своей домашней. И уснул крепко-накрепко.

Утром проснулся Ваня — словно от долгого обморока очухался. Припомнилось ему ночное представление во всех неприглядных подробностях. Сон ли это, думает, или явь? Однако страху претерпел немало, чуть не околел!

«Эка, — думает, — оказия! Всю жизнь с нечистой силой дела имею, в прямом с нею родстве состою — и ничего, а тут какого-то мёртвого попа перепугался, не одолел храбростью своей нечеловеческой! Стыдоба-стыдобища!»

Стыдил-стыдил себя, только всё равно долго на этом месте задерживаться не решился. Посмотрел на маманин планчик, определил направление, да и тронул в указанную сторону. Напоследок, правда, хотел фляжку свою пополнить, привязал её к поясу, зачерпнул, превозмогая страх, воды из колодца, да заметил вдруг, что лягушек-то деревянных действительно на месте нет! Нехорошо Ивану сделалось, отошёл он с флягой от колодца, а потом понюхал ту воду — и брать передумал. «А ну её, — размышляет, — к Шуралею! Может, это после воды той такие кошмарности видятся! Найду другой родник, в лесу воды много».

И пошёл поскорее с нечистого места.

## 5. Яга Васильевна

Как только смешанный лес сосновым бором сменился, Иван почувал, что близок к нянькиному дому. Свирился он с маманиной схемой, стороны света по близлежащим приметам определил. Немного ещё прошёл — так и есть, вон оно, подсобное хозяйство, сквозь стволы просвечивает, дымом-жаром путников подманивает.

Избушка Яги Васильевны уж почитай лет девять как на месте стоит, по лесу не шатается, не рыщет сказочных приключений на свою гузку. Да и не стоит вовсе, а сидит. Ноги-то у неё за столько лет непрерывного марша по пересечённой местности пришли в непригодность, отнялись и онемели — износились ноги: всё ж таки курьи, а не воловьи! Устала изба та. Так и осела на видном месте, протянула конечности. И очень скоро хозяйство Яги Васильевны разрослось вширь и пополнилось прочими пристройками и выгородками: тут, глядишь, и сарайчик наметился, и банька, и отхожее место, затем и огородик прирос, и всякие там парники с теплицами. Как сама бабка о том говаривала: «Человеку не много надобно — чтобы барахлом зарости».

Только забора настоящего соорудить до сих пор не удосужилась Яга Васильевна, ибо была тем заборам принципиальная противница. Плетень скособоченный поставила — так, чтобы зайцы да дикие кабанчики в огород не лезли, — а забор — ни-ни. Зачем себя от природы

отмежёвывать! «Кто с природой не дружит, тот и с головой своей не приятельствует» — это тоже её слова.

Вышел Иван из лесу на полянку, окинул молодецким взором Яги Васильевны участок. А бабка уже на гостя в потайной глазок смотрит — так вот с ходу не признаёт.

Иван тот глазок заприметил.

— Хозяюшка, — говорит, — ты в один глаз на меня не гляди, не рассмотришь. Ты лучше калитку-то приоткрой да глянь на меня в оба. Может, и признаешь тогда знакомца давнего.

Сморгнул в глазке зрачок удивлённый — отворилась калитка.

И вот стоит на пороге старушка в переднике — молодящаяся такая бабуся лет ста пятидесяти, с шикарной крашеной шевелюрой — во все стороны жгучие зелёные ирокезы торчат.

— Да ты ли это, Ваня! — кричит Яга Васильевна. — Да откель? Да быть такого не могёт! Да вымахал-то как, возмужал! Сажень богатырская! Ну хоть сей же час в печь тебя засаживай — вылитый добрый молодец в самом соку!

И, прикрыв рот узловатой ладошкой, засмеялась громко и визгливо, но по-доброму.

— А я думаю-гадаю: кто это ко мне пожаловал? Вроде как в одну ноздрю — русским духом пахнет, а в другую — наоборот: зверь или нечистый! Вишь, волосы распустила, пугать гостя приготовилась! Эх, Ванятка!

Ухватила бабка Ивана с нечеловеческой силой, пару раз так потрянула, что у самой из фартучного кармана травяные стебли с корешками высыпались.

— Ну ты, нянюшка, даёшь! — дивится Иван.

А бабка нагнулась за корешками — тут ей в спину и вступило! Ваня помогать бросился — видать, старуха только местами сильна, а в целом-то давно уже на отдых напрашивается.

— Что насобирала-то, Васильевна? — спрашивает Иван просто так, для завязки разговора.

— Да травки разные всякие, — отвечает бабка, прихивая.

— Зелье варить? — не отстаёт Иван.

— Не зелье, Ванюша, а снадобье. Для неё вот, горемычной.

Похлопала озабоченно по курьей ноге, вздохнула и как-то враз постарела.

— Замаялась я с нею, Ваня. Никакие отвары не помогают, никакие заговоры не действуют. Довела я хатку до изнеможения, бесчувственно с ней обращалась, не жалела. Она ж у меня всё же более птица, а я с нею — как с лошадьё. О-хо-хо... Теперь боюсь, как бы и самой не обезножить... Ну да ничего, Ваня, может, всё ж таки поставлю её, родимую, на ноги, забросим тогда всё это народное хозяйство, уйдём по белу свету странствовать... Ну чё ты встал, как неродной?! Заходи в дом, такому гостю завсегда рады.

Вошли хозяйка с гостем в избу. Внутри-то изба ухоженная, вся салфеточками уложенная. Печь в изразцах, скамья в завитушках. На окнах занавесочки пришпилены, над печью рыболовные лесочки натянуты, на лесочках — прошлогодний запас грибов к концу подходит да свежие окуньки вялятся. По полу половички расстелены, а в красном углу на буфете стоит чудо дивное, диво чудное — шарик из синего стекла, внутри которого

неизвестный вдохновенный стеклодув запаял красную розочку. Красота бабья! Иван сразу этот шар вспомнил, он в детстве от него взгляда не мог оторвать, — всамделишные-то чудеса для него с рождения не в диковинку были, а вот этот манок рукотворный навсегда запал в память, околдовал своим неповторимым соцветием, своими оптическими переливами. Вгляделся Иван в своё закруглённое отражение — затосковал по детским годкам.

А пока он ту дремучую красоту разглядывал да тоской наслаждался, Яга Васильевна травки собранные на печь высыпала, для просушки распределила.

— Васильевна, а сколько ж тебе лет? — спрашивает Иван.

Прищурилась хитро и улыбнулась во весь старушечий рот: показала свой единственный зуб, да и тот — железный, стариннойковки, теперь таких уж не вставляют.

— Эх, Ваня, Ваня, стерня ты ковыльная! — заболтала головой бабка. — И кто только тебя воспитывал! Это ж неприличие — такие вопросы пожилым мадам за-давать.

— Да ты ж, няня, и воспитывала, — поясняет Иван. — Разве не так?

— А вот за такие слова спасибо, сынок, — размякла няня. — Что правда, то правда: уж я поболее родителей твоих непутёвых сил-то к тебе приложила. А лет-то мне много, и не счесть лет тех. Многолетка я, Ваня, того и гляди закончу своё мирное сосуществование с ентим светом... Кыш, усатый!

Прогнала бабка со скамьи кота Уклея.

— Присаживайся, — говорит. — Ванюша. Ты как — шибко голодный? Тебя сразу в баньку снарядить или сперва блинками разомнёси?

— Шибко голодный, нянюшка, — кивает Иван и за стол усаживается.

— Во! — говорит бабка. — Енто по-нашему. Ты пока блинками-то побалуйся, а я сейчас баньку спроворю. Только прежде того гостинец один к столу выставлю, чтобы к обеду разморозился. Гостинец знатный, специально для дорогого гостя припасла. В леднике он у меня припрятан, с осени ещё млеет. Значится, с осени у меня гостей-то драгоценных не было, а может, и ешшо ранее.

Открыла бабка крышку погреба, запрыгнула туда лихо, по-кавалерийски, одно шубуршание пошло из-под пола. А вот уже и голова её обратно высунулась, подмигнула Ивану кривым веком. И вдруг выкинула бабка из ледника своего огромных размеров ледышку — эдакий кокон в полный человеческий рост. Сама вслед за ним вынырнула, подхватила залихватски и, будто играючи, перебросила с пола да на стол. Кокон грохнулся ледяно на тесовые доски, прокатился по столешнице, всю посуду к краям отодвинул.

Иван аж отшатнулся — такая колобаха к нему подъехала!

А бабка руки с гордостью потирает, улыбается.

— Вот, — говорит, — подивись, Ваня.

А у того аж блин во рту залип: смотрит он на кокон и понять не может, что это такое есть за явление. Встал из-за стола, обошёл да с другой стороны на тот леденец глянул и видит: сквозь ледяную корочку проглядывается голова, руки, ноги...

— Ты чего, нянь, — страшится Иван, — иноплотенянина, что ли, споймала? Или мутана в леднике вывела?



— Тьфу на тебя! — говорит бабка. — Иноплотенянинов на свете нет, наукой доказано. А это не мутан никакой, а самый обыкновенный хомосапистый мужик наземного происхождения, только сильно замороженный. Заморозок называется. Вона, смотри, — и дыхнула ему в лицевую часть своим нутряным старушечьим жаром.

Потёк ледок водицей липкой, и обнаружился под его мутной оболочкой человеческий лик — с бородой, с усами, с чуть седыми бровками. Проступил наружу мужицкий нос картофелиной, обнажились плотно закрытые глаза и тёмные под ними мешочки.

Иван ещё пуще изумился.

— Ты что же, Васильевна, этим набором мне отобедать предлагаешь?

— Предлагаю, — кивает бабка. — Ты не смотри, что мужичонка грубоват да костяст, — я его в простоквашке выкупаю, в укусе вымочу, в сухариках обваляю — пальчики облизывать будешь!

— Не буду я, — хмурится Иван, — пальчики ему облизывать! Где ж это видано — целого мужика за обедом съест!

— Зачем же целого! Сколько осилишь. А что не доешь — так я обратно заморожу на зиму или в фарш пушшу. Зачем же добру пропадать!

— Васильевна! Няня! — машет руками Иван. — Я сроду людей не ел и есть не собираюсь! И мужика этого на обеденном столе рядом с блинами видеть мне неприятно!

Бабка руками всплеснула, на скамью присела.

— Ох, Ванятка, не узнаю я тебя. А впрочем, ты ж за всегда своему папаше неслухом был, всегда перечил ему да на своём особом настырничал. Всегда супротив отцовской воли взбрыкивал. Точно!

Иван молчит, всё на замороженного поглядывает: лёд-то на нём тает, по столу стекает.

— Это всё от матери у тебя, — продолжает бабка свои рассуждения. — Материнское, человеческое-то в тебе всегда сильнее нечистого было. Стало быть, так надо понимать, что взяло оно теперь в тебе верх окончательный?

— Да нет, — говорит Иван. — Я, няня, сам до сих пор не знаю, что во мне верх взяло, да и взяло ли. Есть ли тот верх? Болтаюсь посередке, как в бочке селёдки.

Посмотрел Иван в задумчивости на оттаявшее мужиково лицо, а оно возьми да глаза и открой. Иван дёрнулся от неожиданности, кота вспугнул.

— Ой! — говорит. — Нянь, он глаза открыл!

— Ну да, — встаёт бабка. — Подтаял, вот и открыл.

— Он — что же, стало быть, живой? — изумляется Иван.

— Всяко не мёртвый. Я, Ваня, мазуриков-то не замораживаю, потому как есть во мне, стало быть, гуманизм и гигиена.

— А говорила: зелье не варю!

— Какое ж это зелье! Сам ты зелье. Это в ларьке — зелье, а у меня — нутру веселье...

Не договорила Яга Васильевна — мужик зашевелился, закрыхтел, оттаявшим носом шмыгнул. Сошлись Иван да бабка с двух сторон стола, склонились над подтаявшим гостинцем. А он глаза то сощурит, то вытаращит, а сказать ничего пока не может. И губы у него пока синего подмороженного цвета.

— Послушай, няня, — говорит Иван, — а отдай этого заморозка мне!

— Как это? — удивляется бабка. — Ты ж только что баял, что мужиков не ешь.

— Да не есть — ты мне его просто отдай, живого! Разморозь и со мной отпусти. Я тебе, Васильевна, ох как благодарен буду, бусы красные тебе на обратном пути принесу или косынку тёплую. А?

— На кой мне косынка? — говорит бабка, — и ботсы мне не нужны. У меня всех запросов — челюсть бы вставить да избу от сидячки вылечить.

Иван плечам пожал — мол, этого пообещать не смогу.

— А мужика я тебе не отдам, — продолжает бабка. — Коли есть его не будешь, так пусть остаётся до следующего гостя. Вот ешшо какой интерес — ценный менюй разбазаривать!

Иван распрямился, поясок свой поправил. Откашлялся официально и говорит:

— Няня родная, Яга Васильевна милая. Ежели ты мне мужика этого не освободишь, я на тебя обижусь обидкой горькою.

— Ишь, расхорохорился! — фыркает бабка. — Да на что тебе сдался этот сумарь безремённый?! Ты в мужичьи спасатели, что ли, записался? С него всей выгоды-то — колтун да гумус!

— Тем более отдай, раз он такой безвыгодный, — настаивает Иван. — Мне, няня, дорожный товарищ сильно нужен. Одному в пути туго: тоска заедает, трудности на испуг берут; а вдвоём и в скуке веселее, и в беде сподручнее.

Яга Васильевна фырчит под нос, недовольство заглушает, очень ей отдавать съестного мужика не хочется, вот хоть ты в темя плюй!

— Ладно, — бубнит, — пока суд да дело, давай-ка мы его хоть на скамью усадим, что ль, а то весь стол заляпали.

Усадили они мужика, с трудом в пояснице погнули — весь он закоснел, в коконе-то лежавши. Скрипит, как древняя колесница.

— Ох, грехи мои тяжкие, — вторит тому скрипу бабка, воду со стола тряпочкой вытирает. — От такого куса отказывается, с собой увести хочет, на ноги поставить...

Иван её охов-крёхов слушать не стал, прикрыл мужику тряпичей причинное место и оставил размораживаться. А сам пока отошёл в дальний угол, на стены глядит, нянино обиталище рассматривает. Там в уголке фотографический иконостас выставлен: снимки старые, блёклые, чёрно-серые. Всяких лиц вереница, а посреди один большой коричневый дагерротип: Яга Васильевна в далёкой ведьмаческой молодости и рядышком с ней лихой крючконосый брюнет с чубом.

— Это ты с кем, няня? — спрашивает Иван.

Увидела бабка, куда Ваня уставился, и поясняет:

— Это старик мой, Яг Панкратич, муж мой покойный, твоему отцу двоюродный брат. Тебе, стало быть, дядя. На войне погиб, царствие ему небесное!

— Дядя? — удивляется Иван. — Значит, и дядя мой нечистью был?

— Сам ты нечисть! — плюётся Яга Васильевна. — Нечисть! Ишь ты, чистёнок! Да когда супостат на нас клином-то двинулся, никто не разобрался, нечисть ты или крещёный. И нечистый, и человек, и зверь лесной — все как один поднялись землю нашу кормилицу защищать. Мертвяки — и те, случалось, из гробов вставали.

Тут вдруг из мужика размороженного голос пошёл — прямая разговорная речь. Иван и няня к нему обернулись, а мужик сидит, не шевелится, тарашится на

стеклянный шар с розочкой и говорит медленно, низко, с трудом промёрзлый язык поворачивает.

— Звери о ту пору в целые звериные соединения сбивались, — рассказывает. — Медвежий батальон, лосиная рота. Бобры против танков заграждения в сёлах строили — там, где мужиков не осталось. Много таких случаев известно...

— А ты откуда это всё знаешь, говорливый? — спрашивает бабка. — Воевал, что ли, или в букваре по складам прочёл?

— Было дело, — отвечает мужик, — воевал-воячил, в прицелах маячил.

— Да чё уж говорить! — увлечённо закивала Яга Васильевна. — Кикиморки захватчиков в кусты завлекали, да того их — в болото. Лешие проводниками нанимались — и туда же. Дали укорот супостату, не оплошали. Тяжкое было время, да всё живое друг к дружке липло: все, стало быть, вместе держались. А теперича время провислое, легкомысленное. Каждый сам по себе, каждый за своим забором прячется, частоколом себя отмежевал, нацеплял на окна решёток-сеточек, глядит на небо через дуршлаг! Тьфу, нехристи! То есть... нечисти... Тьфу! Запуталась с вами! В обчем, недовольна я нынешними-то: заперлись каждый в своей берложке, о ближнем своём не думают!

— Едят друг друга! — вставляет Иван.

— Вот-вот! Едят... тьфу ты! — осерчала бабка, на слове пойманная, рукой махнула. — Не буду его есть, забирай своего пройдошу! И не собиралась лопать такого костлявыша!

Иван приблизился к мужику.

— А зовут-то тебя как? — спрашивает.

— Горшеней зовут, — отвечает тот и сам шеей силится двинуть, застою кровеносный разогнать.

— Ну вот, няня, — корит бабку Иван, — мужик-то за-служенный — воевал, Горшеней зовут, а ты его в простокваше заквасить хотела! И не совестно?

— Ты меня не стыди, мал ещё, — говорит бабка. — Отойди вон в тот угол и пригнись пониже; я этого бородулю сейчас к деятельной жизни возвращать буду. Слабонервных вообще просим удалиться.

Последнюю фразу бабка коту своему адресовала. Уклея, как только услышал, чем хозяйка заниматься собирается, зашипел, хвост ёршиком растопырил и спину выгнул рогаткой. Пшикнула на него Яга Васильевна — он в окно и утёк.

Иван обратно к фотографиям отошёл, а бабка подол за пояс заправила, костяшки пальцев расщёлкала, а глазом на Ивана косит, пояснения ему к фотокарточкам даёт:

— Супруг-то мой лётчиком был, авиатором. Без самолёта летал, на обыкновенной ступе. Помелом винты мистер-шмидтам срезал. Махнёт метлой — самолёт долой. Его партизаны так и звали: Яг-Истребитель. Сколько он вражеских самолётов-то поистребил и заштопорил — не счесть! Погиб в неравном бою. Похоронили его солдаты в братской могиле, вместе с крещёными. А ты говоришь — нечисть! Вот тебе факты, а ты уж сам для себя решай, нечисть он или кто. Нечисть! Это я вот нечисть — смотри, чем занимаюсь, какие силы тревожу, какие будоражу скрытные фигуры, — пальцем пригрозила: — Ну всё, молчи. Начинаю ёкзикуцию.

Дыхнула Яга Васильевна пламенем — сразу темно в избе сделалось. Иван и не разглядит, что там, возле стола, происходит: крутится бабка волчком, бубнит на

нечистом наречии, пшикает и плюётся по сторонам, как сковородка. Чуть хотел приблизиться, — так и на него плюнула горячим варевом.

После колдовского сеанса запустила бабка мужика гольшом вокруг избы бегать — чтобы согрелся и размял затёкшие члены. Сама тем временем из погреба извлекла его одежду, в полной сохранности: штаны штопаные, рубаха латаная, картуз кривой да сапоги солдатские расхлябанные.

— На, — говорит запыхавшемуся, — забирай обмундирование своё, олимпиец.

После того навели порядок, сели за стол. И мужика отлёкшего с собой усадили.

Горшеня ещё не всего себя чувствует, порожняком руками над столом водит. Иван ему блин в правую вложил, помог в сметану обмакнуть, ко рту поднёс. Горшеня тесто жуёт, а сам большими глазами вокруг себя смотрит, заново к миру привыкает. То на Ивана взглянет, то к бабке присмотрится, — чудной мужик, растрёпанный, как воробей после драки.

Иван меж тем тревожится, никак раздумье в себе не уймёт.

— А отец мне о той войне не рассказывал.

— Да отец твой, — оживилась Яга Васильевна, — и знать ничего не может об той лютой войне, он в это время в подвале на цепях отвисал, сны до дыр засматривал. И потом, неизвестно ещё, чью бы он сторону-то принял...

— Ну, няня, это ты хватила! — Иван аж вилкой по столу стукнул.

— Ничего не хватила, — ехидничает бабка. — Я тебе, как на духу, скажу, Ванёк: твоего отца много годков

знаю — непорядочный он. Скользкомозглый и в деталях пакостный. Скверного много людям сотворил, да и нечисть от него претерпела изрядочно.

— Всё это в прошлом, нянюшка, — вздыхает Иван. — С ним теперь большие перемены произошли. Болеет он, смерти как избавления ждёт.

— Да что ты! — изумилась Яга Васильевна, отложила блинок, ладони о передник вытерла. — Может, того — притворяется? Может, недоброе замыслил?

— Да нет, нянюшка. Видать, на самом деле припекло. Послал он меня вроде как в экспедицию — иглу свою жизнесодержащую искать.

Старуха рот открыла, охнула.

— На кой ляд? Да неужто... — догадалась и сама тут же свою догадку засурдинила. — Ох!

— Может, няня, вам известно, куда он эту иголку запропастил? — спрашивает Иван. — Сам-то он не помнит ничего, склероз.

— Скилероз?! Ох, ох, ох... Грехи наши тяжкие...

Встала Васильевна со скамейки, принялась со стола крошки сгребать, все приборы поправила, стол шатнула — будто растеряла что-то важное и собрать не может.

— Так как же, нянюшка, — окликает Иван, — не подкажешь, где иглу заветную искать-то надо? Где её местонахождение?

— Чёрт её знает... — ворчит старуха. — Я в это дело замешиваться не хочу. Не ндравится мне эта сейтуация.

— Да, — размышляет Иван, — про чёрта и отец сам говорил. Только чёрт-то, видать, и знает. Да где ж этого чёрта сыскать?

— Тьфу на тебя! — ругается опять Яга Васильевна. — Совсем сдурел — чёрта искать!



Тут мужик Горшеня в разговор вступил — как в речку с разбега прыгнул. Язык у него ещё нетвёрдо буквы печатает, так он всем туловищем языку помогает.

— Чёрта, — говорит, — искать не надо, чёрт сам всегда найдётся... А скажите, люди добрые, какое время года нынче?

— Весна, — отвечает Иван. — Самый апрель-месяц.

Горшеня нос свой картофельный пальцами пощупал, усы почесал, бороду обследовал.

— Стало быть, перезимовали, — говорит.

— Ты, Вань, лохматеня этого не слушай, — скрипит Яга Васильевна, — ты меня слушай, я в чертях больше разбору имею. Чёрт чёрту рознь. Чёрта такого, который всё про всё знает, — его так запросто не раздобудешь, далеко он таится — в самом Мёртвом царстве.

— А как в это Царство попасть? Где у него вход?

Бабка бровь насупила, остатком блинка сметану с миски собрала.

— Вот ведь... — чмокает языком. — Не знаю я, как смертному человеку в ту царству попасть, чтобы жизни своей не лишиться. Ещё никто ведь оттуда не возвращался, Ваня.

— А ежели, к примеру, я всё-таки бессмертный? — размышляет Иван. — Смогу я туда попасть не навсегда, а на время?

— Не знаю, Ванюша, не знаю, — качает головой бабушка, — задачку ты мне задаёшь не по моей старушечьей голове. Ты бы для начала природу свою выяснил — в смысле там бессмертности, — а потом уже чертей разыскивал.

Горшеня в окно смотрит, капель губами считает.

— Стало быть, Пасха скоро, — говорит мечтательно. — Радуги увидим, на ярманку пойдём...

Иван встал, шапку с табуретки забрал. Благодарит за приём, за угощение.

— Как так? — расстроилась Яга Васильевна. — А баньку, а кваску домашнего?

— Некогда, няня, — говорит Иван. — Отцу плохо совсем, а я тут по полкам кататься буду — куда это сгодно! Ты мне лучше посоветуй, в какую теперь сторону путь держать?

Бабка осерчала, но и понять воспитанника смогла. Вздохнула, подол потеряла, говорит:

— Ну ты вот чего... ты, Ванюша, к Человечьему царству ступай. Тут у нас в лесах ты вряд ли что по существу узнаешь, тут языков много, да все, как говорится, без костей. А у своего брата, человеческого, и спросить про то-сё не зазорно. Всё ж таки ты на половину-то из ихних... Стало быть, пойдёшь сейчас вот в тую сторону, сначала по тропке, потом тропка в дорожку разрастётся, потом обойдёшь прудик с ивнячком и прямо через бурьян выйдешь на распутье. На распутье том камень указательный располагается. Прочитай на ём, в какой стороне Лесное царство. В Человечье-то царство пройти отседова можно только через Лесное, обогнуть его никак нельзя — слишком обильное.

— Понял, — кивает Иван. — Спасибо тебе, Яга Васильевна, нянюшка моя ненаглядная... Ну я мужика-то забираю, ага?

— Ась? — бабка сначала якобы не расслышала. Да потом махнула рукой — бери добро!

Горшня старушке поклонился, спиной отмёрзшей скрипнул.

— Эх, спасибо тебе, бабушка, за предоставленный мне, так сказать, внеочередной отпуск. Где б я ещё так

крепко отдохнул да выспался!.. Посто́й, — стал он по сторонам осматриваться, — а ведь со мною дружок ещё был, Сидором кличут.

Иван бабку взглядом как бы спрашивает: никак ещё и Сидор какой-то был? А та ему другим взглядом отвечает: да что ты, милоч, — это, видать, мужик с перемёрзу того — умом заплошал, несуществующее выдумывает!

— Какой такой дружок? — спрашивает хозяйка.

— Да верный дружок — солдатский мешок, — говорит Горшеня. — Сидор по-нашему. Без него мне пути не будет, в нём все мои богатства и утварь перемётная.

Бабка рукой махнула: дескать, обошлось. Велела тут стоять, а сама быстро в подпол слазила, вытащила холодный заплата́нный сидор. Горшеня мешку своему обрадовался, обнял, как друга, только что целовать не стал. Раскрутил завязку, руку запустил — щупает босяцкие имущества свои.

— Да всё в целости и сохранности, не беспокойсь, — оскорбилась слегка старуха. — Нужны мне твои сухари с портянками!

— Верю тебе, бабушка, — улыбается Горшеня. — А в мешок полез, потому как соскучился по имуществу своему ненаглядному, затосковал, захотел его рукой потискать. У тебя вот — огород да хатка, а у меня — мешок да заплата́к. У каждого своё богатство, бабушка, свой, так сказать, нажив!

— Иди, — толкает его Яга Васильевна, — нажив, куда сам жив... А что касаето чёрта, Ваня... Шутки-то они шутками, а по существу — всё же чёрт и может чтой-то уместное подсказать. Мы, хотя и нечисть, а живём среди смертных, и обзор у нас, стало быть, такой же —

смертный. А чёрт — который не из средних, а ранжиром постарше, — он в других эмпиреях обитает, и видно ему гораздо более здешнего. Так что запросто могёт знать то, о чём мы и не догадываемся. Вот такие мои думки-соображения, Ванюша.

— Спасибо тебе, нянюшка, — кланяется Иван.

— Ну, обложили старую спасибями, как ту сахарную голову! Ступайте, охламоны, хватит в дверях просвечивать!

Сказала — и выпроводила обоих за дверь.

## 6. Путь-дорога

Покинули дорожные товарищи бабкины сосновые уголья, вошли в толстоствольный лес. Горшеня весь будто в смотрение превратился: то вокруг себя глядит, то внутрь заглядывает. Так в соизмерении себя с окружающей действительностью и промолчал версты две. Наконец говорит:

— Смотри-ка ты, весна-то какая озорная нынче: летом притворяется, солнце в глаза так и пускает. Так и журчит ручьями, обормотка! Что девка лукавая: раздразнит, приголубит, а потом — шась! — только сарафан между веток мелькнул! И снова холодок да вода с неба: беги-догоняй!

И видно, что очень ему на природу глядеть нравится, на Ивана смотреть — тоже нравится, себя в движении ощущать — тоже. С таким аппетитом он окружающий мир поглощает и в себя впитывает, что Ивану даже завидно сделалось. Он и не тревожит пока товарища расспросами, ждёт, когда тот вольного воздуха надышится да сам разговоры зачнёт.

Вздыхнул Горшеня и по-свойски Ивану подмигивает:

— Давненько я яви не видел! Красивая она — явь-то наша, не хуже сонных прикрас, а местами так и покрасше того будет. Эх, весна моя, весна — липкий сок берёзовый! Я гуляю допоздна, не вполне тверёзовый...

— Оттаял, стало быть? — вступил в разговор Иван. — Отошёл от зимней спячки?

— Фу, — трясёт головой Горшеня, — на три четверти отошёл, а последняя четвертушка ещё в мороке прибывает, сосулькой скапывает. Да в дороге-то оно быстро разойдётся: тело себя в походке вспоминает, а душа природой оживляется, картинками её и милыми запахами. Ты понюхай, Иван, как пахнет — корою, землёю, таяньем... Нет, во сне таких запахов с огнём не сыщешь!

Остановился Горшеня-мужик, вдохнул полногрудно весенний воздух, потом руки расправил, как аэроплан, — едва не взлетел, такая в нём потаённая жизненная сила всколыхнулась. Поклонился он Ивану:

— Спасибо тебе, Иван, — говорит. — Выручил, одно слово.

— Да чего там! — смущается Иван. — Не за что. Ты скажи лучше, в какую сторону путь свой держишь и какая у тебя путеводная нужда?

— Да в какую сторону, — улыбается Горшеня. — На все стороны путь держу, ни одну не обижаю. А двигаюсь я без особой практической нужды, так — тело своё перекатываю, поле своё перепыхиваю. Есть у меня один интерес общественного характера, но дело то несрочное, и в какой стороне его искать, самому мне неизвестно. Поэтому, Иван, ежели ты не возражаешь, пойдём пока вместе, а там — как Бог на душу положит.

Иван и не думал возражать, наоборот, обрадовался — ему ведь именно того и хотелось.

— Я вот только об одном жалею, — говорит Горшеня, — о том, что мы с тобой в баньке не попарились, вес лишний не сбросили перед дальнею дорогой.

— Да какой в тебе вес, Горшеня! — изумляется Иван.

— Какой-никакой, а всё ж таки вес. Голова моя, например, шибко много весит, а руки вообще с драгоценными металлами наравне.

— Дык этот вес не лишний, Горшениа, — в пути он пригодится.

— Только нога у меня хромает, — говорит Горшениа, — да ещё после бабкиного погребца пахнет от меня, как от фугасного снаряда. Этим запахом я всю окружающую лесную действительность порчу.

— Никакого особенного запаха нет от тебя, — уверяет Иван, принюхиваясь, — немного гнилым картофелем отдаёт, не более.

— Точно ли так? Гнилый картофель — не худший вариант. И всё ж таки — чего ж ты от бани-то отказался, Ваня? Мытый, что ли?

— Понимаешь, — говорит Иван, — не было во мне уверенности, что Яга Васильевна в следующий момент не передумает и не решит тебя сызнова съесть. Я её с детства знаю, у неё задвижки разные случаются. Ей лет-то, знаешь, сколько? То-то и оно.

— Неужто, Ваня, она меня и взаправду съесть могла? — как бы осознал Горшениа такую обратную перспективу. — Вроде ж по весне оказалось — добрейшей души старушка, с блинами, с фотокарточками...

— Сама бы не съела, — отвечает Иван, — у неё для того и зубов-то нет. А вот угостить кого-нибудь — это запросто. От всей людоедской щедрости.

— Стало быть, — смеётся Горшениа, — мне с гостем повезло. Другой бы съел с удовольствием, чтоб хозяйку не обижать, и ртом не крякнул.

— Ты зря смеёшься-то. Вот съела бы тебя Васильевна — вот я бы посмотрел, как бы ты смеялся.

— Людям, Ваня, доверять надо, — сказал Горшеня серьёзно. — Без доверия жить на свете нет никакой возможности.

Иван задумался, бровь насупил.

— То — людям. А Яга Васильевна... Она, конечно, няня мне и женщина в частностях хорошая, но как ни вертись, в целом всё одно получается не человек, а нечистая сила. И гости у неё, стало быть, соответствующие. Что же, по-твоему, и нечистой силе доверять надо?

Горшеня не ответил, только поглядел на Ивана удивлённо и некоторое время потом молча шёл, будто о чём-то спросить не решался. Но всё ж таки не вытерпел, рискнул:

— А правда, — спрашивает, — что ты, Ваня, — Кошечка Бессмертного сын? Или мне послышалось?

— Правда, — подтверждает Иван, — не ослышался ты. Отец мой — Кощей, а мать — из обычных деревенских людей, Марья-Выдумщица, значит.

Горшеня остановился, уставился на Ивана своими чёрными зрачками, самым внимательным образом его оглядел.

— Стало быть, — взвешивает Горшеня в голове факты, — и ты, Ваня, наполовину того... не совсем как бы человек, а эта самая... сила, прости Господи? — он ещё пронзительней поглядел на Ивана. — А ты сам-то меня... не съешь ли? Не передумаешь?

Иван поперхнулся, закашлялся. Кулаком в грудь стучит, крошку из горла выбивает. А может, вовсе и не крошку, а обиду на такой незаслуженный вопрос! Горшеня понял, что не то спросил, отвёл глаза, стукнул товарища по спине — выбил ту зазорную крошку.



— Прости, — говорит, — это я, конечно, дурасть сказанул, — вдруг улыбка ему на лицо снизошла: — Испужался я, Иван! Страсть как испужался!

И захохотал переливистым весенним смехом. Иван, как эту гнилозубую улыбку увидал, так все обидки у него тут же исчезли. Так ему смешно стало, что он сначала подхихатывать мужику принялся, а потом и громче него закатился.

Стоят Иван с Горшеней и хохочут, друг за друга держатся! Чуть в проталину не свалились, грачей распугали, березняк растрясли. Ивану смех Горшенин шибко по нраву пришёлся: у себя на родине он ни у кого такого не слыхивал — какой-то омывающий смех, безо всяких подначек, здравый и надежду вселяющий. Да и сам Горшеня — хоть и чудной, а приятный. Вроде простоват, а обо всём суждение своё имеет, слов много знает умных, коверкает их по-своему! По всему видно, что Горшеня — человек надёжный и справный.

— Эк! — говорит Иван, фыркая. — Все внутренности себе отхохотал.

И рассказал Иван новому знакомцу всю свою подноготную — какие могут быть секреты после такого-то единящего смеха! И Горшеню о себе рассказать попросил — кто таков, откуда и прочее.

— Да что рассказывать, — присвистнул Горшеня. — Во мне подробностей мало, одни общие места. Родился в ярме, рос в дерьме. Дневал в срубке, ночевал в клубе. Потом была работа у купца Федота. Затем работишка — у помещика Тишки. Да ещё задал труд фабрикант Крутт. А потом халтурка образовалась — армией называлась. Сражался за троны, транжирил патроны. По будням от царя получал сухаря, по праздникам —

плётку, чтоб служилось в охотку. За верстою верста — двадцать лет, как с куста. На двадцать первом годе к строевой стал не годен. Дали о ранении справку и пиннок на добавку. Ступай, говорят, восвояси — из окопов в штатские грязи.

— А дальше? — подталкивает Иван.

— Дальше... — вздыхает Горшеня. — Дальше пришёл я, Ваня, домой, а там — полный покат: ни жены, ни детей, хата стоит голая.

— Кто ж их похитил? — нахмурился Иван. — Что за чудище такое беззаконие сотворило?

— Да никто не похитил, Ваня, — ещё мрачнее вздыхает Горшеня. — Голод их в могилу свёл, мор. И не чудище никакое, и не беззаконие; голод тот по закону был — от царя-батюшки подарок. Пока я за него кровь проливал да товарищей своих хоронил в братских канавах, он, отец родимый, со своими премудрыми министрами да благородными генералами семью мою голодом замучил. По большой, так сказать, осударственной нужде.

Остановился Иван, шапку снял с головы, в руках её комкает, понять сей факт не может. Ещё не сталкивала его жизнь с такой лютой несправедливостью.

— Это что же за аномалия! — возмущается он, чуть не плача. — Выходит, что ваши цари с генералами хуже наших нечистых?

— То-то и оно, что ясно, где темно! — отвечает Горшеня.

Весь бледностью пошёл Иван, Кощеев сын. Черты лица заострились, щёки щетиной пошли, да не простой, а с медным отливом. Руки сами собой свернулись в кулаки, увеличились в размерах и прямо на глазах у Горшени

стали каменеть. Заскрипели плечи, грудь лязгнула холодным металлическим панцирем. Да ещё и зубы железные изо рта полезли — один другого длиннее!

Горшеня отпрянул от неожиданности, сидором в дерево упёрся.

— Что с тобой, Иван? Али нездоровится?

Иван опомнился, обмяк щетинистым телом, железные зубы за губу спрятал.

— Прости, Горшеня, не предупредил я тебя. Ты меня не бойся, я здоровьем крепок и ничего шибко ущербного во мне нет, просто с рождения природа у меня такая двойственная — от отца Косяя прямая наследственность. Когда я злиться начинаю, во мне нечисть просыпается и наружу выползает в виде эдаких вот странностей. В чудовище превращаюсь, Горшеня.

И показывает товарищу руки свои окаменевшие, с большими серыми когтями. Едва Горшеня на тех руках взгляд собрал, а они уж на глазах обратно человеческий вид обретают: гранитная пористость с них уходит, когти уменьшаются до нормальных ногтевых размеров.

— Вот видишь, — комментирует Иван. — Это я к злобе остыл, и человеческий облик ко мне обратно возвращается, над минутной слабостью долговременный верх берёт.

— Фу ты... — Горшеня пот со лба вытер, картузом лицо бледное обмахнул. — А я уж снова испужался, подумал грешным делом, что с тобой скверное приключилось, что тебя какая-нибудь муха чёртова в зад куснула... Пошли, думаю, метастазы — ой да караул!

— Нет, — мнётся Иван, — всё в порядке, ты не думай... Просто осерчал я на твоих обидчиков, разозлился не на шутку... Ты потрогай, не бойся.

И протягивает товарищу локоть, чтобы тот убедился в его, Ивана, человекоподобии.

Горшеня локтем пренебрѣг, от Ивана на три шага отошёл, оглядел его с прищуром, носом по ветру поводит, потом приблизился, растопыренными пальцами потрогал грудь и плечи, ухо к животу приложил. Целую минуту прислушивался, Ивана в неловкость ввёл.

— Эвона как, — резюмирует, распрямляясь. — Извини, Ваня, но тебе с такими синптомами злиться совершенно противопоказано. Ты смотри, Иван, осторожнее, злобу в себе перебарывать надо, не поддаваться на её истеричные провокации. Не то аукнуться может в самый неподходящий момент.

— Да как же мне не злиться, когда я злобного Кощея родной сын? Мне злость на роду написана.

— Всё равно, я бы на твоём месте этими пограничными состояниями не злоупотреблял. Это я тебе как медбрат говорю.

Иван только вздохнул в ответ. Горшеня от того вздоха шархнулся — ещё не совсем, видать, от испуга оправился. Посмотрели дорожные товарищи друг на друга, как бы жалея об утраченной гармонии. До сего разговора так привольно по лесу шагать было, так уютно, а теперь — сплошные нервические дѣргания. Ну да делать нечего — раздраю душевному не поддались, побрели дальше. Однако мысли им молчать не дают, сами на свет изо ртов выпрыгивают.

— Да, — бормочет Горшеня, — видел я, что гнев да злоба с людьми делают, во что их превращают, но чтобы вот так, сверх всякой наглядности, — такое я, Вань, впервые наблюдаю. Ты уж больше, пожалуйста, не злись, не надо.

— Так страшно? — спрашивает Иван.

Горшеня остановился, товарищу своему в глаза поглядел.

— Страшно, Ваня. За тебя страшно. Думаешь, это так себе — побыл идолицем и перестал? Ан нет, брат! Это всё равно что рожи строить: напугает кто — так и останешься чудищем на всю жизнь!

— А ты, Горшеня, разве ни на кого не злишься? — удивляется Иван. — Разве злобы на тех своих обидчиков не таишь? Разве такое простить можно?

Горшеня взглотнул, о своём припомнил в подробностях. Пошёл, прихрамывая, вперёд, а Иван за ним плетётся, вопросы свои дальше сеет.

— Ну что ты молчишь, Горшеня? Ты прямо скажи — есть в тебе злоба или вся вышла?

— Есть, — отвечает наконец Горшеня. — И злоба есть, и ещё много какой дрянью душа засижена. Только я всему этому управлять собой не позволяю — хватит мне господ да приказчиков, наслужился вдоволь, приказаний идиотских наисполнялся досыта! Теперь я, Иван, сам себе хозяин, сам за себя в ответе перед своей же совестью. Потому и в путь пустился, на месте околевать не стал. Пошёл я, Ваня, искать справедливость — вот куда я пошёл. Очень интересно мне, есть ли такова на свете? Я, Вань, зла ни на кого не держу, я всех понять могу и каждого оправдать пытаюсь, только очень интересно мне поглядеть на эту самую справедливость. Очень мне желательно потрогать её, искомую, вот этими личными моими руками. Такая моя конечная цель на сегодняшней момент времени!

Высказался Горшеня — и побрёл дальше. Невесёлым сделалось лицо его, вроде даже постарел сразу же. А Иван

стоит на месте ошарашенный. Осилил думу, опомнился, бросился вслед за Горшеней.

— Ты послушай, Горшеня, — кричит, — я тебе теперь помогать буду, я тебя в обиду не дам!

— Ты и так мне помогаешь, в обиду не даёшь, — говорит Горшеня.

— Нет, — не понимает Ваня, — ранее — это не то было; я тебе не по сознательности помогал, а только от скуки. А теперь я будто прозрел, вижу, какой ты есть порядочный человек, вижу, сколько ты несправедливости претерпел! Очень твоя история тронула меня, за своё живое ухватила! Я тебе, Горшеня, другом быть хочу! У меня настоящего друга никогда не было, а теперь будет!

Горшеня не нашёл, что ответить, только похлопал Ивана по плечу и дальше поплёлся.